

Евгений ЕВТУШЕНКО

г. Москва



Мучительна потеря такого большого поэта, как Андрей Вознесенский, чье значение не только национально, но и всемирно. А особенно сейчас, когда всемирность мироощущения у многих мельчает, распаясь на амбициозные взаимоозлобленные национализмы или даже на микроскопические племенные кровавейшие выяснюшки. Большие страны иногда часто нарушают закон джунглей, стравливая разные подвиды бандарлогов, вместо того чтобы заставить их вести себя прилично, иначе наш очаровательный, но изгаженный и беззащитный земной шарик может погибнуть и с бандарлогами, и носорогами, и слонами. В таком историческом контексте невозможно быть национальным большим поэтом, не будучи одновременно поэтом всемирным. Афоризмы Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, Если рухнет человек»; «Обязанность стиха Быть органом стыда»; «Не тронь человека, деревце, Костра нем не разводи, А то в нем такое делается, господи, не приведи»; «Художник перво-родный Всегда трибун, В нем дух переворотов И вечный бунт» живут на разных языках, как пословицы двадцатого века. В Лондоне его обнимал Генри Мур, в Сан-Поль-Дю-Вансе Пикассо, в Париже Пьер Карден спонсировал показ спектакля «Авось», в США его представляли на выступлениях Эдвард Кеннеди и Ален Гинсберг. Вместе с Андреем мы читали буквально в разламывающемся главном зале заседаний ООН перед представителями всех стран человечества под джаз великого Поля Винтера и записанное им возле Аляски детское попискивание гигантских китов. Холодную войну поэзия волшебю

превращала в международное братство поэтов и читателей. А потом мы читали те же самые стихи в 15-тысячном, тоже под завязку набитом, Дворце спорта в Лужниках, или в Политехе, рядом с другими всемирными русскими – Булатом, Беллой Ахмадулиной, Робой, а в Париже с Володей Высоцким, прорвавшими железный занавес, надеюсь, навсегда и для будущих поколений – лишь бы и среди них оказались бы поэты, которые бы не позволили своему народу замшелой гибельной изоляции от всего остального мира. Зачем нам, русским, искусственно придумывать национальную идею? Все лучшее в русской классике и есть наша национальная идея. Она была озвучена Достоевским в речи о Пушкине. Вот эта идея, выраженная всего в двух словах: «Всемирная отзывчивость».

Первыми всемирными русскими, задолго до нас, были и Андрей Рублев, и первопечатник Иван Федоров, и Петр Первый в его плотницкой ипостаси, и Ломоносов, и Пушкин. Они знали, что все изобретения мира, все сокровища искусств, религии и философии есть общая собственность всего человечества. Всемирными русскими были Лев Толстой, Герцен, Сахаров, учившие нас не молчать при любой несправедливости. Мы, шестидесятники, иногда попадались, как все идеалисты, в ловушку политических иллюзий, но никогда не были послами бюрократии. Мы были никем не назначенными послами надежды благословившего нас обоих всемирно русского Пастернака на то, что «силу подлости и злобы одолеет дух добра». Лишь бы оно, это добро, не слишком запаздывало, пока люди еще живы.

Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО –*частый гость в Петрозаводске.**Его ежегодные выступления в самых разных залах города неизменно проходят при полном аншлаге.**И каждый раз он неповторим, заразителен, неожидан не только в слове, но и в мысли, в своем отношении к читателям – почитателям таланта поэта.**Меня он покорила своей глубинной мудростью, стоящей над всеми земными человеческими ошибками, исповедальной искренностью и животворной силой своего поэтического слова.**За огромный вклад в культуру России он был удостоен Государственной премии, врученной Президентом РФ Д. Медведевым в июне 2010 года.**От всей души поздравляем Евгения Александровича с этой значимой наградой и желаем ему дальнейших успехов!**Елена Пиетилиянен, главный редактор журнала «Север»*

Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,
и это неназванное
не заменит никто и ничто.

Неясное «это»
превыше, чем премия Нобеля, –
оно безымянно,
и этим бессмертней зато.

Не стало поэта,
который среди поэтического мемеканья
«Я Гойя!»
ударил над всею планетой в набат.

Не стало поэта,
который писал, архитекторствуя,
будто Мельников,
вонзив свою башню шикарно
в шокированный Арбат.

Не стало поэта,
который послал из Нью-Йорка на «Боинге»
любимой полячке
дурманящую сирень,
и кто на плече у меня
под гитарные чьи-то тактичные баиньки
в трамвае ночном,
как невинный младенец, сопел.

Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,
и это теперь не заменит никто и ничто.

У хищника быстро остынет
его опустевшее логово,
но умер поэт,
а тепло никуда не ушло.

Тепло остается в подушечках пальцев,
страницы листающих,
тепло остается
в читающих влажных глазах,

и если сегодня не вижу
поэтов, как прежде блистающих,
как прежде беременна ими
волошинская Таи*.

Не уговорили нас добрые дяди
«исправиться»,
напрасно общица ища
в наших женах и матерях.

Поэзия шестидесятников –
предупреждающий справочник,
чтоб все-таки совесть
нечаянно не потерять.

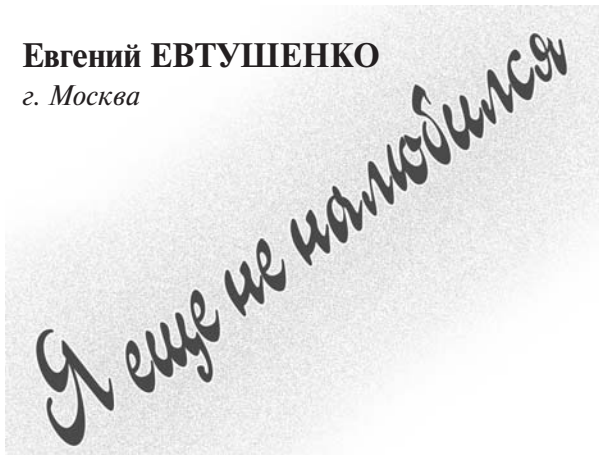
Мы были наивны,
пытаясь когда-то снять Ленина с денег,
а жаль, что в Гулаге, придуманном им,
он хоть чуточку не пострадал,
ведь Ленин и Сталин чужими руками
такое смогли с идеалами нашими сделать,
что деньги сегодня –
единственный выживший идеал.

Нас в детстве сгибали
глупейшими горе-нагрузками,
а после мы сами
взвалили на плечи земшар,
где границы, как шрамы, болят.

Мы все, твои дети, Россия,
но стали всемирными русскими.
Мы все, словно разные струны
гитары, что выбрал Булат.

2-3 июня 2010**Поезд «Москва – Старый Оскол»**

* Царица.

Евгений ЕВТУШЕНКО*г. Москва***РЕВНОСТЬ**

Люблю тебя, когда меня ревнуешь.
Так молния отмщает свысока —
и подожжет деревья и траву лишь,
а после дом и даже облака.

Люблю тебя, когда меня ревнуешь.
Прекрасен полный взрывчатости взгляд.
Такое можно испытать в раю лишь,
когда испепеляет он, как ад.

Люблю тебя, когда меня ревнуешь
и, перебив тарелки все в дому,
из рук ты вырываешься, рванувшись,
к твоей обидной тайне — к никому.

Люблю тебя, когда меня ревнуешь
к друзьям, вину, политике, стране,
к стихам, — как будто скрытно ты рифмуешь,
но лучше удается это мне.

Люблю тебя, когда ко мне ревнуешь,
к шкилетикам на шпильках-каблучках,
к толстушкам, от души ревмя ревущим,
к моделям в разбрильянтенных очках.

Ревнуй меня и кожей, и глазами,
ревнуй меня, как выюга, как обвал,
брось ревновать, чтоб я от страха замер,
да вот не умер — сам бы взревновал.

ЭТО — ЖЕНЩИНА МОЯ

Я был влюбчив, я был выюбчив,
но, глаза мне отворя,
Бог шепнул:

«Вглядишь, голубчик.
Это — женщина твоя».

Ты стояла с моей книжкой
взять автограф у меня,
но я понял, став мальчишкой:
«Это — женщина моя».

Я глядел на твою руку
пристальной, чем на лицо,
и, костяшкой пальца хрупнув,
проросло на ней кольцо.

И теперь уже мой голос
в него вслушаться моля,
истерзал внутри, как голод:
«Это — женщина моя!»

Слава сразу осерчала,
лишь ее любить веля,
чтобы лишь о ней звучало:
«Это — женщина моя».

Власть обиделась на годы —
охладел к ней, что ли, я,
не слагая больше оды.
Власть — не женщина моя.

Может быть, всего основа —
смерти или бытия —
три на свете первых слова:
«Это — женщина моя».

Те слова дышали в пальцы,
коченя без огня,
даже и неандертальцы:
«Это — женщина моя!»

И назло толпе и рынку,
среди жлобства и жулья,
захочу — и снова крикну:
«Это — женщина моя!»

ШЕПОТ НА КУХНЕ

Проснулся я ночью. Во сне накатилося гнетущее что-то. А рядом со мной любимая женщина не находилась. Ушла навсегда. И я сам был виной.

Сначала глазами искал я повсюду, побрел босиком, лишь бы вновь не в кровать. И вдруг я услышал по звону, по стуку — на кухне любимая мыла посуду, ее протирала и мыла опять.

Паркет обжигал мои ноги, как угли, и было страшнее мне пытки любой, когда ее шепот услышал на кухне — со мною невидимым и собой.

Шептала она, что все время я занят и не замечаю ее и детей, что буквы прыгают перед глазами и то, что волосы все седей.

Свою улетевшую маму просила со мной не ссориться ради Христа, ведь я поступаю порой некрасиво, но вот душа у меня чиста.

Она шептала на ухо ложкам, тарелкам, блюдечкам, чашкам, ножам, что сыну сгрубила — да вышла оплошка, а сын разобиделся и убежал.

Любя чистоту, не в пример грязнулям, и все отскребая, почти во сне, она исповедовалась кастрюлям и сковородкам, и снова мне.

А я стоял, охваченный шоком, не в силах теперь позабыть ничего, и то ли додумывал ее шепот, а то ли действительно слышал его.

Она присела, совсем обессилев, заснув, как сраженная наповал, и кроткий ветер невидимых крыльев слова молитвы с губ ей сдувал.

Стоял я виновно, остолбенело среди бессонницы или сна, и тоненько что-то внутри звенело, да только не знаю — какая струна. . .

29 апреля 2009

ВАДИМ СИНЯВСКИЙ

В ЭсЭсЭсЭр необходимый, как черный хлеб или лаваш, был хрип Синявского Вадима, летящий к нам через Ла-Манш.

И в репродукторы дышали мы, внуки каторг и лучин. Нас всех смотреть футбол ушами Вадим Синявский научил.

Мы, веря с искренностью детской в наш краснорозетный третий Рим, болели за Союз Советский, и был распад непредставим.

Футбол мы слушали на кухне — он из тарелки черной шел, и колокольню сквозь их «кокни»* звучал наш каждый звонкий гол.

Взаимоненависти скотской не знал наш коммунальный чад. Был круг болельщиков московский голубоглазый и раскосый — из еврейчат и татарчат, из стариков, мальцов, девчат, где Сулико и Фатимат, и не забыть шалавы Груньки, чьи подрастающие грудки и нынче в памяти торчат.

Когда, в ворота наши метаясь, к нам прорывался Стенли Мэтьюз, чуть не кричал Синявский — стой! — и был главней, чем Лев Толстой.

* Кокни — лондонский простонародный жаргон.

Когда в Москве ночами брали
соседей, дедушек, отцов,
то в Лондоне на поле брани,
незримы в лондонском тумане,
сражались тыщи огольцов.

«Шаланды, полные кефали» —
как гимн мы пели, голодны.
Мы кипяток пустой пивали,
а все же счастливы бывали —
всем ЭсЭсЭром забивали
в ворота Англии голы...

17 марта 2009

* * *

Я еще не налюбился.
Я всех женщин не добился,
но в осколки не разбился, —
склейка поздняя смешна.
Перелюбленность опасна.
Недолюбленность прекрасна.
А залюбленность страшна.

2009

НЕДОГРЕХ

*(сибирский народный неологизм —
несвершенный грех)*

Мне сказала одна бабушка,
девьяноста с лишним лет:
«В тебе столько бесшабашного,
твоему носу
сносу нет.

Хорошо, что им шмурыгаешь
в направленье женчин всех
и ноздрями ишо двигаешь,
чутко ищешь недогрех.
Я, сыночек, умираючи,
так скажу,

хоть это срам,
по грехам тоскую ранешним,
больше —

по недогрехам.
И такую думку думаю

о когдатошних тенях,
что была кромешной дураю,
столько в жизни потеряв...»

Знаешь, бабка,
здесь у Качуга,
завораживая всех,
ходит,
бедрами покачивая,
мой последний недогрех.
Между красными лампасами
заиркутских казаков
носит запахи опасные,
позаманней кизяков.
И мой грех неизвинительный,
что, краснея, как юнец,
я с чего-то стал стеснительный —
все же лучше, чем наглец.
Настроенье самолетненькое
так, что кружится башка,
и желанья-то молоденькие,
да и ум —

не дедушка.
Ты соблазном не укачивай!
Я,

влюбляясь впопыхах,
во грехах моих удачливый,
но лопух в недогрехах.
И во снах,

другим не видные,
меня мучат не стихи, —
к сожалению, невинные
все мои недогрехи...

2009